

Владимир  
Набоков



Волшебник

Solus Rex

# Владимир Владимирович Набоков

## Волшебник. Solus Rex

### Серия «Набоковский корпус»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67297424](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67297424)*  
*В. В. Набоков. Волшебник. Solus Rex: АСТ; Москва; 2022*  
*ISBN 978-5-17-137847-9*

#### Аннотация

Настоящее издание составили два последних крупных произведения Владимира Набокова европейского периода, написанные в Париже перед отъездом в Америку в 1940 г. Оба оказали решающее влияние на все последующее англоязычное творчество писателя. Повесть «Волшебник» (1939) – первая попытка Набокова изложить тему «Лолиты», роман «Solus Rex» (1940) – приближение к замыслу «Бледного огня». Сожалея о незавершенности «Solus Rex», Набоков заметил, что «по своему колориту, по стилистическому размаху и изобилию, по чему-то неопределяемому в его мощном глубинном течении, он обещал решительно отличаться от всех других моих русских сочинений».

В Приложении публикуется отрывок из архивного машинописного текста «Solus Rex», исключенный из парижской журнальной публикации.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

# Содержание

От редактора	5
Волшебник	18
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# **Владимир Набоков**

## **Волшебник. Solus Rex**

«Волшебник»

Copyright © 1986, Dmitri Nabokov

All rights reserved

«Solus Rex»

First published in 1940, 1942.

Copyright © 1995, 2002, 2006, 2008, Dmitri Nabokov

All rights reserved

© А. Бабинов, составление, редакторская заметка, примечания, перевод, статья, 2022

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2022

© ООО «Издательство Аст», 2022

Издательство CORPUS ®

\* \* \*

# От редактора

В 1956 г. в послесловии к «Лолите» Набоков вспоминал:

Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого-то ученого, набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный «Волшебник», в тридцать, что ли, страниц. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года (все они запрещены по политическим причинам в России). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере бросился под колеса грузовика. В одну из тех военного времени ночей,

когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, И. И. Фондаминский, В. М. Зензинов и женщина-врач Коган-Бернштейн; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-ом году<sup>1</sup>.

Это воспоминание оказалось неверным в нескольких важных отношениях. Прежде всего, неудовлетворенность новым сочинением не помешала Набокову еще до отъезда в Америку предпринять попытки его опубликовать, что следует из частично сохранившегося недатированного письма главы издательства «Петрополис» А. С. Кагана, относящегося к концу 1939 г.:

Господину В. В. Набокову, Пари<ж>

Подтверждаю получение Ваше<о> <утрачено одно или два слова> письма.

Я не отказался от мысли из<дать Ваш> роман «Дар». Война меня, правд<а, выбила из> колеи, но я не прерывал своей издательской деятельности и Ваша книга у меня на очереди. Давайте <sic> еще только немного придти в себя. Рукопись Ваша у меня в полной сохранности.

Ваш рассказ в стиле Боккаччо-Аретино меня интересует.

---

<sup>1</sup> Набоков В. Лолита. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 514. (Здесь и далее – прим. ред.)

Может быть, что-либо и можно предпринять. Пришлите его мне. Мой адрес неизменно тот же. <...>

<Сердечный привет> Вере Евсеевне.

Преданный Вам.

<Подпись:> А. Каган<sup>2</sup>

Упоминание Боккаччо подразумевает эротические новеллы из его «Декамерона», подпавшие под церковную цензуру; с именем Пьетро Аретино (1492–1556) связана скандальная история публикации его «Сладострастных сонетов» в альбоме гравюр непристойного характера.

Рукопись повести, по всей видимости, действительно была уничтожена, однако ее машинописная копия (с правками и вставками рукой Набокова и с указанием времени и места написания: «Париж. Октябрь – ноябрь 1939 г.») сбереглась и была случайно найдена Набоковым в феврале 1959 г., о чем он сообщил президенту издательства «G. P. Putnam's Sons» Уолтеру Минтону:

Как я пояснил в своем эссе, приложенном к «Лолите», осенью 1939 года я написал в Париже повесть, своего рода прото-«Лолиту». Я был уверен, что давно уничтожил ее, однако сегодня, собирая с Верой дополнительные материалы для передачи в Библиотеку Конгресса США, обнаружилась

---

<sup>2</sup> Library of Congress / Manuscript Division / Vladimir Nabokov papers. Box 1. Folder 38.

единственная копия этого сочинения. Моим первым побуждением было отправить его (и пачку карточек с неиспользованными в «Лолите» заметками) в Библиотеку Конгресса, но потом мне пришло на ум другое.

Сочинение под названием «Волшебник» написано по-русски, пятьдесят пять машинописных страниц. Теперь, когда моя творческая связь с «Лолитой» разорвана, я перечитал «Волшебника» со значительно большим удовольствием, чем испытывал, вспоминая его как мертвый обрывок во время работы над «-Лолитой». Это прекрасный образец русской прозы, точной и ясной, и с соблюдением некоторых предосторожностей Набоковы могли бы перевести его на английский<sup>3</sup>.

Эта идея Минтона не увлекла, и при жизни Набокова ни русское издание, ни публикация английского перевода «Волшебника» не состоялись. Отрывок из повести, в английском переводе, впервые опубликовал Э. Филд в книге «Набоков. Его жизнь в искусстве» (1967)<sup>4</sup>. Ни один персонаж в «Волшебнике», кроме прислуги Марии, не назван по имени, нет и определенных указаний на место и время действия повести; однако Филд, не прочитав, по-видимому, всей повести,

---

<sup>3</sup> *Nabokov V. Selected Letters. 1940–1977 / Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. San Diego et al.: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. P. 282–283. Пеп. мой – А.Б.*

<sup>4</sup> *Field A. Nabokov. His Life in Art. Boston – Toronto: Little, Brown and Company, 1967. P. 328–329.*



утверждал, что герой в ней назван Артуром и что повествование берет начало в саду Тюильри.

По позднему воспоминанию эмигрантского критика В. В. Вейдле, Набоков в 1939 г. в Париже дал ему прочитать рукопись рассказа, содержание которого было близко «Волшебнику», однако в некоторых отношениях существенно отличалось от него:

<...> заглавие мне помнится другое: не «Волшебник» <...>, а – весьма отчетливо – «Сатир». Жалею, что, прочитав книгу Филда, я об этом не запросил – Набокова, и с горечью говорю: «Теперь уж поздно» <...> Вопрос состоит в том, не читал ли я версию еще более раннюю, чем та, что поступила в распоряжение Филда и была озаглавлена по-новому; а интересно было бы узнать ответ на него прежде всего из-за одной подробности, которая незначительной может показаться лишь при самом крайнем верхоглядстве. Я говорю о возрасте той девочки, которая впоследствии названа была Лолитой.

Лолите в начале романа двенадцать (с несколькими месяцами) лет. <...> Девочку-француженку в «Волшебнике» и Филд, и сам Набоков называют двенадцатилетней <...> Не помню, безымянной ли была девочка в рассказе «Сатир», но твердо помню, что девочке этой было не более десяти лет, что совсем неосведомлена была она по части женско-мужских дел, оставалась невиннейшим ребенком. Герою того рассказа именно такие девочки и нравились. Первая глава

показывала нам его в Париже, но не в Тюильрийском саду, как «волшебника», а в несуществующем нынче, но тогда существовавшем сквере между Сеной и церковью Сен-Жерве.

Сидит он там на скамейке и с вожделением посматривает не на грациозную конькобежицу (на роликах), как «волшебник», а на девочек куда помоложе, с ведерками и совками, играющих на песочке. Описано было это подсматривание с редким мастерством, так что если интенсивность описания ценить прежде всего, то лишь финал мог соперничать с этой увертюрой. Финал был катастрофичен – и до крайности неприличен; но катастрофой как раз и уравнивалось это неприличие, – с точки зрения морали, как и с точки зрения искусства. Возвращая рукопись Набокову, я именно финал этот всего горячней и хвалил, заметив в то же время, что ни один русский журнал (я думал в первую очередь о «Современных записках») последней страницы рассказа не напечатает. Он с этим не спорил, но и не сказал мне, что одному из редакторов «Записок» он свой рассказ уже читал. Прочел ли он Илье Исидоровичу <Фондаминскому> и его друзьям – несколько позже – уже «Волшебника», а не «Сатира», и была ли новая версия последней страницы менее непристойно реалистична, чем первая, не знаю. <...> Слова Набокова о неудачной попытке «приласкаться к сиротке» ни о каких изменениях кривой усмешкой своей не оповещают, тем более что заключительная катастрофа в «Волшебнике» оставалась той же, что и в «Сатире». О ней сообщали три

последние строчки. О судьбе девочки не сообщалось ничего.

<...> В результате женитьбы «среднеевропейца Артура» на слабого здоровья вдове, француженке, и заранее им учтенной ее кончины, он получает в полную свою власть ее дочку, уже успевшую по-дочернему привязаться к нему. Он везет ее, как мне помнится, не на юг Франции, а в Швейцарию, останавливается в отдаленной от населенных мест гостинице, и когда утомленная дорогой девочка, прикорнув на двуспальной кровати, начинает засыпать, приступает к выполнению давнего своего замысла: пытается всерьез «приласкаться к сиротке». Та отбрыкивается, ничего не понимает, плачет, кричит... получается не то, что нужно. Он в бешенстве накидывает халат на склизко запачканную пижаму, выбегает из комнаты, выбегает из гостиницы на большую дорогу. Его давит проносящийся мимо автокар или грузовик<sup>5</sup>.

Приведенные сведения позволяют предположить, что Набоков, как ему помнилось в 50-х гг. и о чем он писал в послесловии к «Лолите», уничтожил все рукописные и машинописные экземпляры *первой версии* «Волшебника» (рассказа в тридцать страниц), в которой герой был назван Артуром и которая была озаглавлена созвучным с этим именем словом «сатир». Посылал ли он Кагану в «Петрополис» первый или

---

<sup>5</sup> Вейдле В. Набоков. Первая «Лолита» // Русская мысль. 1977. № 3184. 29 декабря. С. 9. Цит. по: В. В. Набоков: pro et contra. Антология. Т. 2 / Сост. Б. В. Авенин. СПб.: РХГИ, 2001. С. 865–867.

уже второй вариант рискованного сочинения, получил ли он ответ – неизвестно (примечательно, однако, что Каган называет произведение рассказом, а не повестью). Убедившись в том, что опубликовать «Сатира» невозможно, Набоков переписал его (предположительно расширив) и сохранил машинописную копию нового произведения, которую случайно обнаружил двадцать лет спустя.

Повесть перевел на английский язык и опубликовал в 1986 г. Дмитрий Набоков; оригинальный текст (напечатанный по правилам новой орфографии, с сохранением некоторых особенностей правописания Набокова) был напечатан в 1991 г. в издававшемся «Ардисом» альманахе «Russian Literature Triquarterly» (№ 24) со следующим примечанием Д. Набокова: «Тем двуязычным читателям, которые бы захотели сравнить русский текст с моим английским переводом, следует помнить, что первое американское издание (в твердом переплете, изд-во Putnam, 1986) содержало некоторые ошибки и пропуски, которые были исправлены в дальнейших английских изданиях и в большинстве переводов на другие языки».

В настоящем издании «Волшебник» печатается по этой публикации с уточнениями по архивному машинописному тексту<sup>6</sup>.

По-своему не менее запутана история создания и публи-

---

<sup>6</sup> Редактор благодарит Вадима Алексеевича Маневича, любезно предоставившего для сверки текстов копию первой журнальной публикации повести.

кации последнего русского романа Набокова «Solus Rex». В январе 1939 г. в Париже Набоков закончил свой первый английский роман «The Real Life of Sebastian Knight» («Истинная жизнь Севастьяна Найта»<sup>7</sup>), а два месяца спустя Н. Берберова упомянула о его новом романе в письме к И. Бунину (от 30 марта 1939 г.): «Видаюсь с Сириным и его сыном (и женой). <...> Живется им трудно и как-то отчаянно. Пишет он “роман призрака” (так он мне сказал). Что-то будет!»<sup>8</sup>

При известном угле зрения в предисловии Набокова к английскому переводу двух глав из «Solus Rex» можно усмотреть указание на то, что действиями героев в нем руководит «призрак» – покойная жена Синеусова. В разговоре с Берберовой Набоков дал своей новой книге, по-видимому, не сюжетную, а жанровую характеристику, поскольку «роман призрака» – это, конечно, русский эквивалент английского понятия «ghost story», которому вполне отвечает замысел «Solus Rex».

Часть нового романа (глава вторая, согласно позднему указанию Набокова) вышла в последнем (семидесятом) номере парижских «Современных записок» в марте 1940 г. (В. Сиринь. Solus Rex. Романъ. С. 5–36). Второй и последний отрывок (глава первая) был опубликован уже после пе-

---

<sup>7</sup> Именно так, Севастьяном или Севастианом, Набоков несколько раз по-русски называет своего героя и – сокращенно – роман в письмах к жене.

<sup>8</sup> Переписка И. А. Бунина и Н. Н. Берберовой (1927–1946) / Публ. М. Шраера, Я. Клоца и Р. Дэвиса // Иван Бунин. Новые материалы. Вып. II / Сост. О. Коростелев и Р. Дэвис. М.: Русский путь, 2010. С. 53.

реезда Набокова в Америку в «Новом журнале» (Нью-Йорк) в январе 1942 г. (В. Набоков-Сирин. *Ultima Thule*. С. 49–77). Посылая рукопись М. А. Алданову, редактору «Нового журнала», Набоков сообщил следующее:

Понедельник

2 часа утра

Дорогой Марк Александрович,

посылаю Вам «статью», как говорил некто Арбатов, который все называл «статьей», будь то рассказ, или кусок романа, или даже стихи. Простите, что задержал, – я добыл машинку только в субботу.

Я не пометил на манускрипте, но хорошо бы сделать сноску, как бывало:

Отрывок из романа «*Solus Rex*», начало которого см. в [последнем, – каком именно?] № Соврем.<енных> Зап.<ис-ок>

Буква «ъ» не вытанцовывалась у жены на этой незнакомой машинке, а потому есть риск, что французские слова «Раон» и «Вон», встречающиеся в манускр.<ипте,> наберут русскими буквами. Не знаю, как отметить их латинство.

Я решил осалтыковать мою подпись. Хочу непременно держать корректуру. Кажется, эта вещьца самая отталкивающая из всего, что я до сих пор печатал, правда?

Ваш *В. Набоков*<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Цит. по: *Набоков В. Переписка с Михаилом Карповичем (1933–1959)* / Пре-

Замечание Набокова о «вещице» относится, по-видимому, ко всему роману, в первом (по времени публикации) отрывке которого редактор «Современных записок» счел непристойными и изъял два фрагмента. Алданов ответил 5 ноября:

Сегодня получили Вашу рукопись и сегодня же сдали ее в набор. Сердечно Вас благодарю: отрывок превосходный. <...> Очень ли Вы настаиваете на сноске: отрывок и т. д.? Если не очень, я предпочел бы сноски не помещать: причины Вы угадываете<sup>10</sup>.

Алданов, судя по всему, имел в виду, что новая самостоятельная вещь лучше бы отвечала первому номеру только что учрежденного журнала, чем отрывок из сочинения, уже частично напечатанного в другом журнале. «Ultima Thule» вышла без предложенного Набоковым примечания. Нет упоминания о романе и в повторной публикации «Ultima Thule» в сборнике «Весна в Фиальте» (1956), в котором под отрыв-

---

дисл., сост., примеч. А. А. Бабилова. М.: Литературный факт, 2018. С. 29–30.

<sup>10</sup> Там же. С. 30. 3 января 1942 г. Набоков послал Алданову из Уэльсли следующую расписку: «Получил от М. А. Алданова за “Ultima Thule”, напечатанное в New Review, 28 долларов. Wellesley, 3–I–42. В. Набоков» (Columbia University / The Rare Book and Manuscript Library / Bakhmeteff Archive / M. A. Aldanov papers).

ком указано лишь: «Париж, 1939 г.»<sup>11</sup>. Эта дата соответствует хронологии публикации двух отрывков романа, изложенной в примечании Набокова к их английскому переводу.

Нарушение порядка публикации глав в двух разных журналах могло быть следствием того, что вторая глава ко времени сбора материала для последнего номера «Современных записок» была готова к публикации, а первая – «Ultima Thule» – нет. Набоков знал, какой ценой и в каких условиях В. В. Руднев составлял этот номер «Записок» (о встрече с ним незадолго до своего отъезда в США он рассказал в интервью нью-йоркской газете «Новое русское слово» 23 июня 1940 г.), и понимал, что готовую часть романа в скором времени напечатать не удастся. Подтверждением этому служит и отсутствие в парижской публикации «Solus Rex» указания номера главы, и схожая ситуация с публикацией в «Современных записках» «Дара», когда Набоков вместо второй главы прислал Рудневу четвертую, поскольку вторая требовала доработки. Из интервью Набокова «Новому русскому слову» следует, что в июне 1940 г. он еще надеялся закончить «Solus Rex»: «Роман “Дар” в течение двух лет печатался в “Современных Записках” и “Солюс Рекс” (Одинокий король) только начался в этом журнале, прекратившемся из-за войны»; Набоков в Нью-Йорке «заканчивает “Солюс Рекс”»<sup>12</sup>. О том

---

<sup>11</sup> *Набоков В.* Весна в Фиальте и другие рассказы. Издательство имени Чехова. Нью-Йорк, 1956. С. 313.

<sup>12</sup> В. В. Сирин-Набоков в Нью Йорке чувствует себя «своим» [Интервью Ни-



же Набоков писал Э. Уилсону 29 апреля 1941 г.: «<...> я покинул Европу на середине обширного русского романа, который скоро начнет сочиться из какой-нибудь части моего тела, если продолжу держать его внутри»<sup>13</sup>. Две опубликованные главы «Solus Rex» можно считать если не половиной, то, во всяком случае, значительной частью новой книги, в скорое завершение которой Набоков еще верил летом 1940 г. (о чем он сказал репортеру газеты). Весной следующего года эта работа была отложена, а затем и вовсе прекращена из-за решения Набокова окончательно перейти на английский язык. Историю Адама Фальтера, героя «Solus Rex», Набоков предполагал использовать во второй части «Дара» (Фальтер упоминается в рукописи продолжения романа), однако этот замысел также остался невоплощенным<sup>14</sup>.

Первая (по времени публикации) часть романа печатается по тексту «Современных записок» с восстановлением по рукописным вставкам Набокова двух исключенных фрагментов. Вторая часть печатается по тексту сборника рассказов «“Весна в Фиальте” и другие рассказы» (Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956)<sup>15</sup>.

---

колаю Аллу] // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1940. 23 июня. С. 6.

<sup>13</sup> Цит. по: *Набоков В.* Полное собрание рассказов / Сост., примеч. А. Бабикова. СПб.: Азбука, 2016. С. 737.

<sup>14</sup> Черновые наброски нескольких глав продолжения «Дара» опубликованы в издании: *Бабинов А.* Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 358–388.

<sup>15</sup> Дополнительные материалы см. в *Приложении*.

# Волшебник

«Как мне объясниться с собой? – думалось ему, покуда думалось. – Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, что бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность, – ибо и в мыслях допустить не могу, что причину боль или вызову незабываемое отвращение. Вздор, – я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей... (не просто безопасность, а права одичания, или это – порочный круг, с пальмой в центре?). Рассудком зная, что евфратский<sup>16</sup> абрикос вреден только в консервах;

---

<sup>16</sup> В машинописи ошибочно: Эвфратский (вероятно, под влиянием слова эдемский).

что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опошлить то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Что, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня, — сколько их на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках, — *такие* мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному — сырая женщина-друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, по-простому, — знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова, и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому, — очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или *то* — редкое цветение *этого* в Иванову ночь моей темной души, — потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в ми-

нута его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств – если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно, – и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате – тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы, – и случалось, что месяцами изображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все-таки – милость) и печальной усмешкой (все-таки – жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища – сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами, – он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно, чтобы линии начинали дрожать и таять, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой – и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в та-

ком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца, – колотьба в груди, – «а щекотки боишься?», – или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, инкуба<sup>17</sup> так и не заметивших, он поражался своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худошавый, сухогрудый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишье.

Слева сидела старая краснолобая брюнетка в трауре, справа – белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально-проверочным

---

<sup>17</sup> Инкубы (от *лат.* incubare – ложиться на) – в средневековой европейской мифологии мужские демоны, помогающие женской любви, в противоположность женским демонам – суккубам (от *лат.* succubare – ложиться под), соблазняющим мужчин.

взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о пригожей ладности новой обуви, он случайно заметил около каблука крупную, полущербленную гравинками, никелевую монету. Поднял. Усатая слева ничего не ответила на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Приносит счастье в нечетные дни».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в —».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматривал скульптурную роскошь черной церкви.

«...Мы-то живем по другой стороне речки. Весь склон в плодовых садах, — красиво, — и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива, — подумал он. — Кажется, придется пересеть».

Но тут-то взвывается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно), торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось) ему казалось, что тогда же, тотчас, он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжевато-русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приот-

крытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность еще узкой, уже не совсем плоской груди, передвижение юбочных складок, их короткий размах и мягкое впадение, стройность и жар равнодушных ног, грубые ремни роликов.

Она остановилась перед его общительной соседкой, которая, отвернувшись, чтобы покопаться в чем-то лежавшем справа, достала и протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремни – всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колесиках, – и, сойдя к нам на землю, выпрямившись, с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремилась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни, – и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась вовсю, плеща освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной игрой света под лилово-зелеными деревьями.

«А дочка у вас, – заметил он бессмысленно, – уже большая».

«О нет, она мне ничем не приходится, – сказала вязальщица, – у меня своих нет – и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка поправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстяного за-

родыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запятки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады – нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («До свиданья», – ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающуюся тень, исподлобья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы, – и, в ожидании своей очереди, отставя ногу, скрестив горящие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножницы ног: «Улыбка рассеянности, – подумал он жалко, – но все-таки ведь рассеанным бывает только человек».

На рассвете, опустив плавник, отложив снулую книгу, он вдруг набросился на себя – почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговорить-



ся, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полугувернанткой, — и он вообразил jovialного господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность — все так же jovialно — на колени к себе забирать эхтышалунью. Он знал, что хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться, — в других отраслях жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоровый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг —

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивалась с уверенной быстротой, ловко поворачивалась, так что перехлест юбки обнажал ляжку, и затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным влиянием икр она тихо катилась обратным ходом. Вожделением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбегалась, стремительно сгибая крупные колени), — или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать, — все равно что, но только чтобы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-ни-

будь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать – вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что вместо улыбки джентльменского приветствия ослабилась и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом ведении которого он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и, приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сидения розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей – мимо него – тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

«...Здоровее, конечно; а главное – прекрасная гимназия», – говорил далекий голос, как вдруг он заметил, что русокудрая голова слева безмолвно и низко наклонилась над его рукой.

«Вы потеряли стрелки», – сказала девочка.

«Нет, – ответил он, кашлянув, – это так устроено. Редкость».

Она левой рукой наперекрест (в правой торчала тартинка) задержала его кисть, рассматривая пустой, без центра, циферблат, под который стрелки были пущены снизу, выходя на свет только самыми остриями – в виде двух черных капель среди серебристых цифр. Сморщенный листок дрожал у нее в волосах, у самой шеи, над нежным горбом позвонка, – и в течение ближайшей бессонницы он призрак листка все снимал, брал и снимал, двумя, тремя, потом всеми пальцами.

На другой день и в следующие он сидел там опять, по-любительски, но вполне сносно играя одинокого чудака: привычный часок, привычное место. Появления девочки, ее дыхание, ноги, волосы, все, что она делала, – чесала ли она голень, оставляя белые черты, бросала ли высоко в воздух черный мячик, касалась ли голым локтем, присаживаясь на скамейку, – отзывалось в нем (на вид поглощенном приятной беседой) невыносимым ощущением кровной, кожной, многососудной соединенности с ней, словно в ней пульсирующим пунктиром продолжалась чудовищная биссектриса<sup>18</sup>, выкачивавшая из его глубины весь сок, или словно эта девочка из него вырастала, каждым беспечным движением дергая и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества, так что, когда она внезапно меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская хватка, как мгновенная потеря равновесия: вдруг едешь в пыли на спине, стучаясь теменем, – к повешению наизворот. А меж-

---

<sup>18</sup> Луч, исходящий из вершины угла и делящий его пополам.

ду тем он спокойно сидел и слушал, и улыбался, и покачивал головой, и подтягивал на колене штанину, и тростью слегка ковырял гравий, и говорил: «Вот как?» или «Да, знаете, бывает...» — но понимал слова собеседницы только тогда, когда девочки не было вблизи. Он узнал от этой вдумчивой болтуны, что с матерью девочки, сорокадвухлетней вдовой, она связана пятилетней симпатией — покойный спас честь ее мужа; что весной сего года эта вдова, долго перед тем болевшая, подверглась тяжелой операции кишечника; что давно потеряв всех родных, она крепко ухватилась за дружеское предложение доброй четы; тогда же девочка переселилась к ним в провинцию, теперь привезли ее мать навестить, благо у мужа есть кляузное дельце в столице, но скоро пора возвращаться, — чем скорее, тем лучше, так как присутствие дочери только раздражает редко порядочную, но несколько распустившуюся вдову.

«Слушайте, вы мне, кажется, говорили, что она распродаст какую-то мебель?»

Этот вопрос (с продолжением) он составил ночью, задал вполголоса тикающей тишине и, убедившись в его звуковой натуральности, повторил его на другой день своей новой знакомой. Она ответила утвердительно и без обиняков пояснила, что было бы неплохо, кабы та заработала, лечение стоило и будет стоить дорого, денег у больной в обрез, за содержание дочери непременно хотела платить, но делает это неаккуратно, — а мы люди небогатые, — словом, долг чести считал-

ся, видимо, уже погашенным.

«Дело в том, – продолжал он без запинки, – что мне как раз не хватает кое-чего в смысле обстановки. Полагаете ли вы, что будет и удобно, и прилично, если я —» – конца фразы он не помнил, но досочинил ее весьма ловко, уже свыкшись с вычурным стилем еще не совсем понятного многокольчатого сна, с которым он так смутно, но так плотно сплелся, что, например, не знал, чье это, что это – часть собственной ноги или часть спрута.

Она якобы обрадовалась и предложила повести его туда хоть сейчас – квартира вдовы, где стояла и она с мужем, была неподалеку, за мостом электрической дороги.

Двинулись. Девочка шла впереди, сильно раскачивая холщовый мешок на шнуре, и уже все в ней было его глазам страшно, неутолимо знакомо – и выгиб узкой спины, и упругость двух кругленьких мышц пониже, и то, как именно натягивались клетки платья (второго, коричневого), когда она поднимала руку, и тонкость щиколок, и довольно высокие каблочки. Немножко замкнутая, пожалуй, – живая скорее в движениях, чем в разговоре, не застенчивая, но и не бойкая, с подводной душой, кажется, но в светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине, любящая сладости, щенят, невинный монтаж киножурналов, – и у таких, теплокожих, с рыжинкой, с раскрытыми губами, рано бывает первая уборка, – в общем, игра, кукольная кухня... И не очень счастливое детство, полусиротское – эта твердая женщина

добра добротой горького шоколада, а не молочного, ласки в доме не держат, порядок, признаки утомления, дружеская услуга обернулась обузой... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови – все что угодно...

У дома они встретили небритого мужчину с портфелем – столь же разбитного и серого, как его жена, – так что громко вошли вчетвером. Он ожидал, что увидит изможденную больную в креслах, но вместо этого к нему вышла рослая, бледная, широкобокая дама с безволосой бородавкой у ноздри круглого носа – одно из тех лиц, в описании коих ничего нельзя сказать о губах или глазах, потому что всякое о них упоминание – даже такое! – невольно противоречит их совершенной неприметности. Узнав, что это покупатель, она сразу повела его в столовую, объясняя на тихом и слегка накраенном ходу, что ей четырех комнат много, что зимой она переедет в две и рада была бы отделаться от этого раздвижного стола, лишних стульев, того дивана в гостиной (когда дослужит ложем для ее друзей), большой этажерки и шкафчика. Он выразил желание ознакомиться с последним из этих предметов, оказавшимся в комнате, занимаемой девочкой, которую они застали валяющейся на кровати и глядящей в потолок – поднятые колени, обхваченные вы-

тянутыми руками, сообща качались, – «Слезь с постели, что это!» – и, поспешно затмив нежность кожи с исподу и клинышек тесных штанишек, она скатилась, а чего только я бы ей не разрешил. . . Он сказал, что шкафчик покупает – за право входа в дом плата была смехотворная, – и, вероятно, еще кое-что, – но надо сообразить, – если разрешите, я на днях опять загляну и потом уже пришлю за всем сразу, вот вам, между прочим, моя визитная карточка. Провожая его, она без улыбки (улыбалась, по-видимому, редко), но вполне приветливо упомянула о том, что приятельница и дочка уже ей про него говорили и что муж приятельницы даже немножко ревнует. «Ну, положим, – сказал тот, выходя в переднюю, – я мою благоверную рад бы сбыть всякому». – «А ты не зарекайся, – сказала жена, появляясь из той же комнаты, – когда-нибудь можешь заплакать!»

«Итак, милости просим, – повторила вдова, – я всегда дома, и, может быть, вас заинтересует лампа или коллекция трубок, это все отличные вещи – жалковато с ними расставаться, но ничего не поделаешь».

«А что же дальше?» – раздумывал он, возвращаясь к себе. До сих пор он действовал ощупью, едва соображая, следуя слепому побуждению, как шахматный игрок, пробирающийся и напирющий туда, где у противника что-то смутно висит или связано. Но дальше? Послезавтра мою душеньку увезут, – значит, прямая выгода от знакомства с матушкой сейчас исключается, – но она приедет опять и, может быть,

совсем останется, а к этому времени я буду желанным гостем, – но если та не проживет и года (как намекают), тогда все насмарку, – вид у нее, правда, не слишком дохлый, но если все-таки сляжет и умрет, тогда обстановка и условия жовиальных возможностей вдруг распадутся, тогда кончено, – где разыщу, под каким видом?.. А все-таки чувствовалось: так нужно, и лучше не соображать, а продолжать давить на слабый угол, и потому на другой день он отправился в парк с красивой коробочкой глазированных каштанов и фиалок в сахаре, девочке на дорогу, – рассудок ему твердил, что это лубок, глупость, что сейчас-то как раз и опасно ее отличать откровенным вниманием даже со стороны свободного чудака, тем более, что до сих пор он – совершенно правильно – едва ее замечал (в скрывании молний был мастер), – вот гнилые старички, те – точно, всегда носят при себе карамель для заманивания девчонок, – а все-таки он семенил с подарком, слушаясь тайного побуждения, которое было талантливее рассудка.

Он целый час просидел на скамейке; они не пришли. Значит, уехали днем раньше. И хотя лишняя одна встреча с ней не могла бы никак облегчить образовавшееся за эту неделю совсем особое бремя, он испытывал жгучую досаду, как если бы стал жертвой измены.

Продолжая не слушаться рассудка, говорившего, что он опять делает не то, он понесся к вдове и купил лампу. Видя, как он странно запыхался, она пригласила его сесть и пред-



ложила папиросу. В поисках зажигалки он наткнулся на продолговатую коробку и сказал, как человек в книге:

«Это, быть может, вам покажется странностью, мы так недавно знакомы, но все-таки позвольте презентовать вам этот пустяк, — немножко конфет, кажется, неплохих, — ваше согласие мне доставит большое удовольствие».

Она впервые улыбнулась — была, видимо, более польщена, чем удивлена, — и объяснила, что все лакомства в жизни ей запрещены, — передаст дочке.

«Как! Я думал, что они сегодня —»

«Нет, завтра утром, — продолжала вдова, не без грусти трогая золотую перевязь. — Сегодня моя приятельница, которая страшно ее балует, повела ее на выставку рукоделий», — и, вздохнув, она осторожно, как нечто быющееся, отложила подарок на соседний столик, — а пресимпатичный гость спрашивал, что ей можно, чего нельзя, и слушал эпопею ее болезни, ссылаясь на варианты и весьма умно толкуя позднейшие искажения текста.

При третьем посещении (пришел предупредить, что перевозчик заедет не раньше пятницы) он пил у нее чай и в свою очередь рассказал о себе, о своей чистой, изящной профессии. У них оказался общий знакомый: брат адвоката, скончавшегося в том же году, что ее муж. Рассудительно, без ложных сожалений, поговорила об этом муже — про которого он уже знал кое-что: был веселым малым, знатоком нотариальных дел, с женой ладил, но старался как можно реже бывать

дома.

В четверг он купил диван и два стула, а в субботу зашел за ней, как было условлено, чтоб тихонько погулять в парке; но она скверно себя чувствовала, лежала с грелкой в постели, певуче говорила с ним через дверь, и он попросил угрюмую старуху, периодически появлявшуюся в доме для стряпни и ухода, сообщить ему по такому-то номеру, как больная провела ночь.

Так прошло еще несколько деятельных недель – журчания, вникания, улещивания, интенсивной обработки чужого плавкого одиночества. Теперь он двигался к определенной цели, ибо еще тогда, суя ей конфеты, вдруг понял, какую околицу молчаливо указывал ему странный перст без ногтя (эскиз на заборе) и в чем именно кроется настоящая, ослепительная возможность. Путь был неувлекательный, но и нетрудный, и достаточно было увидеть непонятно-небрежно брошенное еженедельное письмо к матери с еще неустойчивым, по-жеребьячи расползающимся почерком, чтобы справиться с любого рода сомнением. Стороной он знал, что она собрала о нем справки, которыми не могла не остаться довольна: чего стоил хотя бы корректный банковский счет. По тому же, с каким религиозным понижением голоса она ему показывала старые твердые фотографии, где в разных, более или менее выгодных позах была снята девушка в ботинках, с круглым приятным лицом, полненьким бюстом и зачесанными со лба волосами (а также свадебные,

где неизменно присутствовал жених, весело удивленный, со странно знакомым разрезом глаз), он догадывался, что она тайком обращалась к бледному зеркалу прошлого, чтобы выяснить, чем же могла *теперь* заслужить мужское внимание – и, должно быть, решила, что зоркому зрению, оценщику граней и игры, все видны следы ее былой миловидности (ею, впрочем, преувеличенной) и станут еще видней после этих обратных смотрин. Чашке чаю, наливаемой ему, она придавала деликатную индивидуальность; в подробнейшие рассказы о своих разнородных недомоганиях ухитрялась вносить столько романтизма, что подмывало спросить что-нибудь грубое; и подчас будто задумывалась, догоняя запоздалым вопросом его крадущуюся речь. Ему было и жалко ее, и противно, но понимая, что материал помимо своего назначения просто не существует, он упрямо продолжал работу, которая сама по себе требовала такой пристальности, что физический облик этой женщины растворился, пропал (если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы) и по отсутствию был кое-как замещен формальными чертами отвлеченной невесты на примелькавшихся снимках (так что все-таки она не ошиблась в своем бедном расчете). Работа спорилась, – и когда в конце осени, дождливым вечером, она безучастно, без единого женского совета, выслушала его неопределенные жалобы на томление холостяка, с завистью глядящего на фрак и дымку чужого венчания и невольно думающего об одинокой могиле в конце одиноко-

го пути, он убедился, что можно звать упаковщиков, – но пока что вздохнул и переменял течение разговора, а через день каково было ее удивление, когда их молчаливое чаепитие (он два раза подходил к окну, словно в каком-то раздумье) было прервано могучим звонком мебельного перевозчика, и вернулись домой два стула, диван, лампа, шкафчик: так решающий задачу сперва отводит иное число, чтоб было сподручнее с нею справиться, и затем возвращает его в лоно решения.

«Вы непонятливы. Это просто значит, что у – супругов имущество общее. Другими словами, я предлагаю вам содержимое манжеты и живой туз червей».

Тут же около ходили два мужика, вносящих вещи, и она целомудренно отступила в другую комнату.

«Знаете что, – сказала она, – пойдите и хорошенько выспитесь».

Он, посмеиваясь, хотел взять ее руку в свои, но она заложила ее за спину и упрямо повторяла, что все это вздор.

«Хорошо, – ответил он, вынув горсть монет и отсчитывая на ладони чаевые. – Хорошо, я удалюсь, но в случае вашего согласия извольте мне дать знать, а иначе можете не беспокоиться, – от моего присутствия я вас избавлю навеки».

«Обождите. Пускай они сначала уйдут. Вы избираете странные минуты для таких разговоров».

«Теперь сядем и потолкуем, – через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван (а он

– с нею рядом, в профиль, подложив под себя ногу и держа себя сбоку за шнурок башмака). – Прежде всего... Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя, – иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах, нет, не отмахивайтесь... Предположим даже, что я протяну еще несколько лет, – что может измениться? Я до гроба приговорена ко всем мукам адовой диеты, и единственное, что занимает меня, это мой желудок, мои нервы; характер мой безнадежно испорчен: когда-то была хохотушкой... но, впрочем, всегда относилась требовательно к людям, – а теперь я требовательна ко всему, к вещам, к соседской собаке, ко всякой минуте существования, которая не так служит мне, как хочу. Вам известно... я была семь лет замужем – особого счастья не запомнилось; я дурная мать, но сама с этим примирилась, твердо зная, что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки, – причем глупо, болезненно завидую ее мускулистым ножкам, румянцу, пищеварению. Я бедна: одну половину моей ренты съедает болезнь, другую – долги. Даже если и допустить, что вы по характеру, по чуткости... ну, словом, по разным чертам, в мужья *мне* годитесь, – видите, я делаю ударение на “мне”, – то каково будет вам с такой женой? Душой-то я, может быть, и молода, ну и внешностью еще не вовсе монстр, но не наскучит ли вам

возиться с привередницей, никогда-никогда ей не перечить, соблюдать *ее* привычки, *ее* причуды, *ее* посты и правила, а все ради чего? – ради того, чтобы, может быть, через полгода остаться вдовцом с чужим ребенком на руках!»

«Посему заключаю, – сказал он, – что мое предложение принято».

И он вытряхнул на ладонь из замшевого мешочка чудный неотшлифованный камешек, как бы освещенный снутри розовым огнем сквозь винную синеватость.

Она приехала за два дня до свадьбы, с пламенными щеками, в незастегнутом синем пальто с болтающимися сзади концами пояса, в шерстяных носках почти до колен, в берете на мокрых кудрях. Стоило, стояло, стояло, – повторял он мысленно, держа ее холодную красную ручку и с улыбкой морщась от воплей ее неизбежной спутницы: «Это я жениха нашла, это я жениха привела, жених – мой!» (и вот, с ухватками орудийной прислуги, попыталась закружить неповоротливую невесту). Стоило, да, сколько бы времени ни пришлось тащить сквозь невылазный брак эту махину, – стояло, переживи она всех, стояло, ради естественности его присутствия здесь и ласковых прав будущего отчима.

Но правами этими он еще не умел пользоваться, – отчасти с непривычки, отчасти от опасливого ожидания неимоверно большей свободы, главное же потому, что ему никак не удавалось побыть с этой девочкой наедине. Правда, с разрешения матери, он повел ее в ближайшую кофейню, и си-

дел, и смотрел, опираясь на трость, как она въедается в абрикосовый край плетеного пирожного, поддаваясь вперед, выпячивая нижнюю губу, дабы подхватить липкие листики, и старался ее смешить, говорить с ней так, как умел говорить с детьми обыкновенными, но все тормозила поперек лежавшая мысль, что, будь помещение безлюднее да уголковатее, он без особого предлога слегка потискал бы ее, не боясь чужих взглядов, более прозорливых, чем ее доверчивая чистота. Ведя ее домой, не поспевая за ней на лестнице, он мучился не только чувством упущенного; он мучился еще тем, что пока хоть раз не сделает того-то и того-то, не может положиться на обещание судьбы в невинных речах, в тонких оттенках ее детской толковости и молчания (когда из-под внимающей губы зубы нежно опирались на задумчивую), в медленном образовании ямок при старых шутках, поражающих новизной, в чуемых излучинах ее подземных ручьев (без них не было бы этих глаз). Пусть, в будущем, свобода действий, свобода особого и его повторений, все осветит и согласует; пока, сейчас, сегодня, опечатка желания искажала смысл любви; оно служило, это темное место, как бы помехой, которую надо было как можно скорее раздавить, стереть, – любым подлогом наслаждения, – чтобы в награду получить возможность смеяться вместе с ребенком, понявшим наконец шутку, бескорыстно печься о нем, волну отцовства совмещать с волной влюбленности. Да, подлог, утайка, боязнь легчайшего подозрения, жалоб, доноса невинно-

сти (знаешь, мама, когда никого нет, он непременно начинает ласкаться), необходимости быть настороже, чтобы не попасться случайному охотнику в этих густо населенных долинах, – вот что сейчас мучило и вот чего не будет в заповеднике, на свободе – «Но когда, когда?» – в отчаянии думал он, расхаживая по своим тихим, привычным комнатам.

На другое утро он сопровождал свою страшную невесту в какое-то присутственное место, откуда она собралась к врачу, которому, по-видимому, хотела задать кое-какие щекотливые вопросы, ибо велела жениху отправиться к ней на квартиру и там ее ждать через час к обеду. Отчаяние ночи забылось. Он знал, что приятельница тоже в бегах (муж вообще не приехал), – и предвкушение того, что он девочку застанет одну, кокаином таяло у него в чреслах. Но когда он домчался, то нашел ее болтающей с уборщицей в розе сквозняков. Он взял газету от тридцать второго числа и, не видя строк, долго сидел в уже отработанной гостинице и слушал оживленный за стеной разговор в промежутках пылесосного воя, и поглядывал на эмаль часов, убивая уборщицу, отсылая труп на Борнео, а тем временем он различил третий голос и вспомнил, что еще есть старуха на кухне, ему будто слышалось, что девочку посылали в лавку. Потом пылесос отсопел и был выключен, где-то стукнули оконные рамы, уличный шум замолк. Выждав еще с минуту, он встал и, вполголоса напевая, с бегающими глазами, стал обходить притихшую квартиру. Нет, никуда не послали, – стояла у



окна в своей комнате и смотрела на улицу, приложив ладони к стеклу; оглянувшись и быстро сказала, тряхнув волосами и уже опять принимаясь наблюдать: «Смотрите: столкновение!» Он подступал, подступал, затылком чувствуя, что дверь сама затворилась, подступал к ее гибко вдавленной спине, к сборкам у талии, к ромбовидным клеткам уже за сажень осязаемой материи, к плотным голубым жилкам над уровнем получулок, к лоснящейся от бокового света белизны шеи около коричневых кудрей, которыми она опять сильно тряхнула: семь восьмых привычки, осьмушка кокетства. «Ага, столкновение, злоключение...» – бормотал он, как бы глядя в пустое окно поверх ее темени, но лишь видя перхотинки в шелку завоя. «Красный виноват!» – воскликнула она убежденно. «Ага, красный... подайте сюда красного...» – продолжал он бессвязно, и, стоя за ней, обмирая, скрадывая последний дюйм тающего расстояния, он взял ее сзади за руки и принялся их бессмысленно раздвигать, подтягивать, и она только чуть вертела косточкой правой кисти, машинально стремясь пальцем указать ему на виноватого. «Постой, – сказал он хрипло, – придвинь локти к бокам, посмотрим, могу ли, могу ли тебя приподнять». В это время стукнуло в прихожей, раздался зловещий макинтошный шорох, и он с неловкой внезапностью отошел от нее, засовывая руки в карманы, покашливая, рыча, начиная громко говорить: «... Наконец-то! Мы тут голодаем...» – и когда садились за стол, у него все еще была неудовлетворенная тоскливая слабость

в икрах.

После обеда пришло несколько кофейниц, – и под вечер, когда гости схлынули, а приятельница деликатно ушла в кинематограф, хозяйка в изнеможении вытянулась на кушетке.

«Уходите, друг мой, домой, – проговорила она, не поднимая век. – У вас, должно быть, дела, ничего, верно, не уложено, а я хочу лечь, иначе завтра ни на что не буду годиться».

Он клюнул ее в холодный, как творог, лоб, коротким мимическим движением симулируя нежность, и затем сказал:

«Между прочим... я все думаю: жалко девчонку! Предлагаю все-таки оставить ее тут – что ей, в самом деле, продолжать обретаться у чужих, – ведь это даже нелепо – теперь-то, когда снова образовалась семья. Подумайте-ка хорошенько, дорогая».

«И все-таки я отправлю ее завтра», – протянула она слабым голосом, не раскрывая глаз.

«Но поймите, – продолжал он тихо – ибо ужинавшая на кухне девочка, кажется, кончила и где-то теплилась поблизости, – поймите, что я хочу сказать: отлично – мы им всё заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы скажете (она молчала), но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние уроки. А главное... видите ли, у людей может создаться впечатление – ведь один намечек в этом роде уже был нынче, – что, несмотря на изменившееся положение, то есть когда у

вас есть моя всяческая поддержка и можно взять бо́льшую квартиру, – совсем отгородиться и так далее, – мать и отчим все-таки не прочь забросить девчонку».

Она молчала.

«Делайте, конечно, как хотите», – проговорил он нервно, испуганный ее молчанием (зашел слишком далеко!).

«Я вам уже говорила, – протянула она с той же дурацкой страдальческой тихостью, – что для меня главное мой покой. Если он будет нарушен, я умру... Вот, она там шаркнула или стукнула чем-то – негромко, правда? – а у меня уже судорога, в глазах рябит, – а дитя не может не стучать, и если будет двадцать пять комнат, то будет стук во всех двадцати пяти. Вот, значит, и выбирайте между мною и ею».

«Что вы, что вы! – воскликнул он с паническим заскоком в гортани. – Какой там выбор... Бог с вами! Я это только так, – теоретические соображения. Вы правы. Тем более что я сам ценю тишину. Да! Стою за статус кво, – а кругом пусть квакают. Вы правы, дорогая. Конечно, я не говорю... может быть, впоследствии, может быть, там, весной... Если вы будете совсем здоровы...»

«Я никогда не буду совсем здорова», – тихо ответила она, приподнимаясь и со скрипом переваливаясь на бок, после чего подперла кулаком щеку и, качая головой, глядя в сторону, повторила эту фразу.

И на следующий день, после гражданской церемонии и в меру праздничного обеда, девочка уехала, дважды при всех

коснувшись его бритой щеки медленными, свежими губами: раз – поздравительно, над бокалом, и раз – на прощание, в дверях. Затем он перевез свои чемоданы и долго раскладывал в бывшей ее комнате, где в нижнем ящике нашел какую-то ее тряпочку, больше сказавшую ему, чем те два неполных поцелуя.

Судя по тому, каким тоном его особа (называть ее женой было невозможно) подчеркнула, насколько вообще удобнее спать в разных комнатах (он не спорил) и как, в частности, она привыкла спать одна (пропустил), он не мог не заключить, что в ближайшую же ночь от него ожидается первое нарушение этой привычки. По мере того, как сгущалась за окном темнота и становилось все глупее сидеть рядом с кушеткой в гостиной и молча пожимать или подносить и прилаживать к своей напряженной скуле ее угрожающе покорную руку в сизых веснушках по глянцеvitому тылу, он все яснее понимал, что срок платежа подошел, что теперь уже неотвратимо то самое, наступление чего он, конечно, давно предвидел, но – так, не вдумываясь, придет время, как-нибудь справлюсь, – а время уже стучалось, и было совершенно очевидно, что ему (маленькому Гулливеру) физически невозможно приступить к этому ширококостному, многостремнинному, в громоздком бархате, с бесформенными лодыгами и ужасной косинкой в строении тяжелого таза – не говоря уже о кислой духоте увядшей кожи и еще неизвестных чудесах хирургии, – тут воображение повисало на колю-

чей проволоке.

Еще за обедом, отказываясь, словно нерешительно, от второго бокала и словно уступая соблазну, он на всякий случай ей объяснил, что в минуты подъема подвержен различным угловым болям, так что теперь он постепенно стал отпускать ее руку и, довольно грубо изображая дерганье в виске, сказал, что выйдет проветриться: «Понимаете, – добавил он, заметив с каким странным вниманием (или это мне кажется?) уставились на него ее два глаза и – бородавка, – понимаете, счастье мне так ново... ваша близость... эх, никогда не смел мечтать о такой супруге...»

«Только не надолго. Я ложусь рано... и не люблю, чтоб меня будили», – ответила она, распустив свежеегофрированную прическу и ногтем постукивая по верхней пуговице его жилета; потом слегка его оттолкнула – и он понял, что приглашение неотклонимо.

Теперь он бродил в дрожащей нищете ноябрьской ночи, в тумане улиц, с потопа впавших в состояние мороси, и, стараясь отвлечься, принуждал себя думать о счетах, о призмах, о своей профессии, искусственно увеличивал ее значение в своем существовании, – и все расплывалось в слякоти, в ознобе ночи, в агонии изогнутых огней. Но именно потому, что сейчас не могло быть и речи о каком-либо счастье, прояснилось вдруг что-то другое: он с точностью измерил пройденный путь, оценил всю непрочность, всю призрачность проектов, все это тихое помешательство, очевид-

ную ошибку наваждения, которое отступило от своего единственно законного естества, свободного и действительного только в цветущем урочище воображения, чтобы с жалкой серьезностью лунатика, калеки, тупого ребенка (ведь сейчас одернут и взгреют) заниматься планами и действиями, подлежащими компетенции лишь взрослой вещественной жизни. А еще можно было выкрутиться! Вот сейчас бежать – и скорее письмо к особе с изложением того: что сожительство для него невозможно (любые причины), что только из чудаковатого сострадания (развить) он взялся ее содержать, а теперь, узаконив сие навсегда (точнее), удаляется опять в свою сказочную неизвестность. «А между тем, – продолжал он мысленно, полагая, что все еще следует тому же порядку трезвых соображений (и не замечая, что изгнанная босоножка вернулась с черного хода), – как было бы просто, если бы матушка завтра умерла – да ведь нет, ей не к спеху, – вцепилась зубами в жизнь, будет виснуть – а какой мне в том прок, что умрет с запозданием и придет ее хоронить шестнадцатилетняя недотрога или двадцатилетняя незнакомка? Как было бы просто (размышлял он, задержавшись, весьма кстати, у освещенной витрины аптеки), коли был бы яд под рукой... Да много ли нужно, когда для нее чашка шоколада равносильна стрихнину! Но отравитель оставляет в спущенном лифте свой пепел... а ее непременно ведь вскрыют, по привычке вскрывать...»; и хотя рассудок и совесть наперебой твердили (немножко подзадоривая), что – все равно, да-

же если бы нашлось незаметное зелье, он не решился бы на убийство (разве что если совсем, совсем бесследное, да и то – в крайнем случае, да и то – лишь с целью сократить страдания все равно обреченной *жены*), он давал волю теоретическому развитию невозможной мысли, наталкиваясь рассеянным взглядом на идеально упакованные флаконы, на модель печени, на паноптикум мыл, на взаимную дивно-коралловую улыбку женской головки и мужской, благодарно глядящих друг на дружку, – потом прищурился, кашлянул – и после минутного колебания быстро вошел в аптеку.

Когда он вернулся домой, в квартире было темно – шмыгнула надежда, что она уже спит, но, увы, дверь ее спальни была по линейке подчеркнута остро отточенным светом.

«Шарлатаны... – подумал он, мрачно пожимаясь, – что ж, придется держаться первоначальной версии. Пожелаю покойнице ночи – и на боковую». (А завтра? А послезавтра? А вообще?)

Но посреди прощальных речей о мигрени, у пышного изголовья, вдруг, ни с того ни с сего, и само по себе, положение круто переменялось, предмет же был несущественен, так что потом удивительно было найти труп чудом поверженной великанши и взирать на муаровый нательный пояс, почти совсем закрывавший шрам.

Последнее время она чувствовала себя сносно (донимала только отрыжка), но в первые дни брака тихонько возобновились боли, знакомые ей по прошлой зиме. Не без по-

эзии она предположила, что больной, ворчливый орган, задремавший было в тепле постоянного пестования, «как старая собака», теперь приревновал к сердцу, к новичку, которого «погладили один раз». Как бы то ни было, она с месяц пролежала в постели, прислушиваясь к этой внутренней возне, пробному царапанию, осторожным укусам; потом стихло – она даже встала, копалась в письмах первого мужа, кое-что сожгла, разбирала какие-то страшно старенькие вещицы – детский наперсток, чешуйчатый кошелек матери, еще что-то золотое, тонкое, – как время, текучее. Под Рождество ей сделалось опять плохо, и ничего не вышло из предполагавшегося приезда дочки.

Он выказывал ей неизменную заботливость; он утешительно мычал, с ненавистью принимая от нее неловкую ласку, когда она, бывало, с ужимками старалась объяснить, что не она, а оно (мизинцем на живот) виновато в их ночном разъединении – и все это так звучало, точно она беременна (ложно беременна своей же смертью). Всегда ровный, всегда подтянутый, он соблюдал плавный тон, что усвоил с начала, и она была ему благодарна за все – за старомодную галантность обращения, за это «вы», казавшееся ей собственным достоинством нежности, за исполнение прихотей, за новую радиолу, за то, что он безропотно согласился дважды переменить сиделку, нанятую для постоянного ухода за ней.



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.